

УДК 930.1, 172
DOI: 10.17223/19988613/58/17

В.Н. Сыров

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-511-00001 «Моральная составляющая исторической рефлексии и коммеморативных практик исторической культуры».

Предпринят анализ моральной ценности исторического знания. Утверждается, что определение форм и способов моральной вовлеченности историков предполагает критическую рефлексию по поводу предпосылок, связанных как с некоторыми допущениями по поводу объекта исторического интереса и ценности исторического знания, так и с определенными сложившимися представлениями о содержании и статусе моральных требований, а также о способах их реализации. Предполагается, что современная историческая культура требует пересмотра унаследованных от XVIII–XIX вв. представлений о формах моральной ценности такого знания и моральной вовлеченности члена профессионального сообщества.

Ключевые слова: историческое познание; исторический нарратив; моральное суждение; моральные ценности; моральная вовлеченность; моральные оценки.

По мнению американской исследовательницы Edith Wyschogrod, историческое исследование, по сути, есть обещание не забывать, и этот акт, первичный по отношению к созданию исторического нарратива, носит характер этический, а не эпистемологический [1. Р. 30]. С этой точки зрения моральную составляющую исторического познания следует считать не следствием, зачастую необязательным, исторического предприятия, а его необходимым условием. Резонно также предполагать, что такое обещание надлежит трактовать не как внешнее условие производства исторических нарративов, а как имманентный принцип их порождения и конституирования. Наконец, поскольку автор использует для характеристики таких обещаний термин «императив», это подразумевает наличие обязательств, причем таких, что конституируют самого историка. Тогда историк есть тот, кто берет на себя обязательство не забывать. По сути, реализация такого требования предполагает формирование определенной исторической культуры.

Встает вопрос: как возможно продуктивно интерпретировать эти идеи, поскольку как сама тема моральной вовлеченности, так и обсуждаемые варианты ее решения остаются традиционными в литературе по историческому познанию. Достаточно устоявшимся и сохраняющим свою значимость является утверждение, что определяющей задачей историка как исследователя было и остается получение знания. «“Поиск истины”, реконструкция прошлого таким, каким оно было в действительности – вот та единственная вещь, на которой историки должны сконцентрироваться» [2. Р. 52]. Американский историк Питер Гей (Peter Gay) в несколько афористичной манере сформулировал это кредо: «Я могу обобщить мое мнение по поводу смысла общественной ответственности историков в трех словах: “Говорить истину. Все остальное – только комментарии”» [3. Р. 33]. В более мягкой форме известный британский историк Ричард Эванс (Richard J. Evans) выразил сомнение по поводу иных форм моральной вовлеченности историков в следующих словах: «Исто-

рики... не обучены делать моральные суждения или искать признаки вины или невинности: у них просто нет опыта в таких вещах» [4. Р. 330]. Правда, Эванс высказал это суждение по более конкретному поводу, а именно по поводу правомерности участия историков в судебных процессах о военных преступлениях в XX в. С другой стороны, ирландский исследователь Джона-тан Горман (Jonathan Gorman) справедливо отмечает, что вопрос «Должны ли историки как историки нести моральную ответственность и если да, то по отношению к кому?» выражается с такой точностью, которая показывает, что она недостаточно точна. «Подобно словам “право” и “долг” “ответственность” представляет собой трехместный предикат: нам необходимо указать, кто должен, какой долг и кому он обязан, и вопрос должен быть соответствующим образом изменен. Что такое этические обязанности историков, как историков? И кому они должны?» [5. Р. 104].

Мы можем воспользоваться этим методологическим указанием и начать не с поиска приемлемого ответа, а с рефлексии над характером вопроса. Для начала возможно предположить, что направление поиска продуктивных ответов на вопрос о моральной вовлеченности историков смещено как минимум двумя типами предпосылок, содержащимися имплицитно в вопросе. Первая связана с некоторыми допущениями по поводу объекта исторического интереса и ценности исторического знания. Вторая – с некоторыми сложившимися представлениями о содержании и статусе моральных требований, а также о способах их реализации.

Поэтому попробуем реализовать композицию текста следующим образом. Темы этики расположим на входе и выходе текста, а его сердцевину свяжем с обсуждением вопросов о природе исторического познания. На этом этапе рискнем утверждать, что в какой бы форме ни ставился вопрос о моральной вовлеченности историка, приемлемый ответ должен отталкиваться от различия как минимум двух типов морального дискурса. Проще говоря, речь должна идти о разведении этики профессиональной и обычной морали.

По поводу статуса профессиональных этик существует немало дискуссий. Достаточно распространенным является тезис, что профессии по своей природе являются этическими практиками, поскольку они организованы так, чтобы заслужить доверие клиентов [6. Р. 7]. Однако мы можем столкнуться и с другой позицией, если не эксплицитно выраженной, то имплицитно подразумеваемой. Вспомним известный тезис Роберта Мертона о природе научного этоса. «Институциональная задача науки – приумножение достоверного знания... Институциональные императивы (нравы) вытекают из этой задачи... Вся структура технических и моральных норм служит достижению конечной цели... Они в такой же степени моральные, в какой и технические предписания» [7. С. 770]. Нечто подобное мы можем обнаружить в рассуждениях по поводу этики бизнеса. Так, известный британский экономист Брайан Гриффитс (Brian Griffiths) отмечает, что в принципе можно согласиться с тезисом о возможности корпорации обойтись без наличия моральных стандартов. В краткосрочной перспективе такая корпорация вполне могла бы функционировать, но трудно себе представить ее жизнеспособность в долгосрочной перспективе [8. Р. 20]. «Поэтому корпорация с эффективным моральным стандартом будет иметь не только низкие транзакционные издержки, но разовьет с течением времени сильную культуру, основанную на доверии, так что внедрение морального стандарта станет источником конкурентных преимуществ» [Ibid. Р. 24–25].

О чем идет речь? Нетрудно заметить, что цитированные выше рассуждения предполагают оправданность правил (и действий) лишь в свете их интерпретации как оптимальных средств достижения поставленной цели, а именно максимизации прибыли или роста знания. Если использовать кантовскую терминологию, то можно назвать их гипотетическими императивами, повелевающими, как известно, совершать действия как средства достижения тех или иных целей. Необходимость средств оправдывается допущением необходимости цели. Но тогда резонно предположить, что подобного рода правила либо вообще не имеют отношения к обычной морали, либо приобретают инструментальный характер. Если опорой для моральной оценки и морального действия является предпочтительность тех или иных действий для достижения частного или публичного блага по целям или производимым последствиям, то при всей неопределенности представлений о благе различие целей кажется очевидным, а вот связь между ростом знания или прибылью и благом – нет. В любой версии морали – деонтологической, консеквенциалистской или теории добродетели – очевидно, что цели данных видов профессиональной деятельности автоматически к благу не ведут.

Наша задача в данном случае не в том, чтобы осуждать профессиональную этику. К тому же возможно, что такое положение дел характерно лишь для определенных видов профессиональной деятельности. Но если вышеописанное верно, то тезис о том, должен ли историк давать моральные оценки, требует как минимум прояснения положения дел: о чем идет речь, с каким типом морального дискурса мы имеем дело.

Тогда чисто теоретически можно утверждать, что на уровне этики профессиональной историк, или выступающий как историк, не должен осуществлять моральные суждения, но он может или даже обязан предпринимать их на уровне обычной морали. Вопрос тогда заключался бы в возможности проведения (автором) и идентификации (читателем) продуктивной демаркационной линии между этими типами морального дискурса.

Здесь возникает еще один аспект. Известно, что Мертоном был сформулирован набор положений, которые должны были составить суть этического кодекса для научного сообщества. «Этос современной науки образуют четыре набора институциональных императивов: универсализм, коммунизм, бескорытность и организованный скептицизм» [7. С.770]. Предложенные Мертоном критерии неоднократно ставились под сомнение и оспаривались. Достаточно обратиться к статье английского исследователя Джона Зимана (John Ziman) об усиливающемся разделении на так называемые «академическую науку» и «индустриальную науку», или «постакадемическую науку», где последняя начинает регулироваться иным этическим кодом [9. Р.1813–1814]. Но рискнем утверждать, что при всей неопределенности идеи «объективности» трудно представить себе требование намеренного искажения процесса и результатов исследования в угоду корпоративным интересам. Осмелимся предположить, что даже в сфере гуманитарного знания в профессиональной среде пока еще вряд ли кто рискнет открыто ставить под сомнение требования доказательности и аргументированности тех или иных высказываний.

Тезис о необходимости различать обычную мораль и профессиональную этику, а также допущение о сохранении ценности надежного знания (при всех расхождениях между реалистами и конструктивистами в его трактовке) как базисной профессиональной этической нормы позволяют предпринять интерпретацию выше приведенных рассуждений Wyschogrod и реакции на них Алана Мегилла.

Если когда-то Артур Данто подчеркивал, что первоочередной задачей историка является не объяснение, а полное историческое описание, то Wyschogrod указывает на первичность этического акта по отношению к эпистемологическому. Суть его в имплицитном обещании не забывать исчезнувшее прошлое, сделать его открытым настоящему и будущему [1. Р. 130]. Причем, как подчеркивает автор, дается это обещание не современному читателю, а тем, кто уже больше не имеет голоса [Ibid.]. Резонно полагать, что такое обещание должно выступить основанием для конституирования исторических нарративов, определяя, что писать и как.

Как отмечает Мегилл, своими размышлениями «она [Wyschogrod] привлекает внимание к тем жертвам геноцида, что были лишены возможности самими выступить в роли истца» [10. Р. 65]. Метафора голоса стала привлекательной для возможной интерпретации работы историка особенно в том, что касается социально-культурной значимости его деятельности. Американский исследователь Фред Эванс (Fred Evans) по этому поводу замечает, что «истории, которые мы пи-

шем, имеют политический аспект, решая, какие голоса слышать, а какие нет» [11. Р. 362]. Идея голоса была выдвинута, в частности, Жаном-Франсуа Лиотаром и применительно к теме этической ответственности историка актуализирована британским исследователем Китом Дженкинсом (Keith Jenkins) [12. Р. 52–56]. Она предполагает, что даже радикальное неприятие чьей-либо позиции так или иначе подразумевает признание ее значимости или права на существование. Тогда абсолютной несправедливостью становилось бы даже не столько нежелание выслушать аргументы другой стороны, сколько игнорирование самого ее права и возможности высказаться. В том, что касается истории, интерпретация метафоры голоса как призыва выслушать чужие голоса предполагала бы способность историка расширить горизонт своего видения путем экспликации всего многообразия позиций, которые могли бы занимать те, кто так или иначе могли быть затронуты тем или иным историческим событием, но которые могли не артикулироваться в силу господства тех или иных социально-культурных стандартов.

Прежде всего Мегилл полагает, что статус жертвы не может быть приписан, а должен быть установлен посредством исследовательских процедур [10. Р. 65]. Иначе говоря, нет прямой однозначной связи между призывом к историкам стать представителями неслышных или неуслышанных голосов и приписыванием им статуса жертвы. Свою позицию по данному вопросу Мегилл формулирует в тезисе о том, что «историк – судья, а не адвокат» [Ibid. Р. 66]. И дело здесь не только в адекватности трактовки роли историка, что функция, конституирующая, так сказать, его деятельность заключается в том, чтобы воздать всем справедливость или правильно определить, какие из неуслышанных голосов достойны получить статус жертвы, а какие – нет. Дело здесь также не в том, что возможность реализации такой задачи обуславливается наличием надлежащих источников. Последнее позволяло бы утверждать: нет источников – нет голоса [Ibid. Р. 67].

В первую очередь Мегилл подчеркивает, что подход, аналогичный подходу Wyschogrod, строится, по сути, на смешении этики памяти и этики истории, что, в свою очередь, предполагает смешение памяти и истории [Ibid. Р. 48–49]. Стоит полностью согласиться со статусом памяти в эпистемологическом плане. Она является лишь сырым материалом для истории [Ibid. Р. 49]. Поэтому, согласно Мегиллу, работа историка имеет двойную ориентацию: одну – в отношении к универсальному, другую – в отношении к особенному. Это суждение означает, что как член профессионального сообщества историк обязан стремиться к истине. Именно стремление к истине, а не обещание не забывать, конституирует историка и воплощает его отношение к универсальному. Это требование также можно считать именно этическим требованием. Мегилл полагает, что, помимо прочего, этический статус ему придает определение в данном контексте статуса читателя. Иначе говоря, лгать читателю – значит демонстрировать в его лице неуважение к человеческому достоинству. Кроме того, стремиться к поиску истины – значит сохранять уважение к предмету своей деятель-

ности, а именно не превращать его в простой пропагандистский инструмент [Ibid. Р. 55].

Если это так, то, по мнению Мегилла, для историка этика заключается не в тексте, а в производстве текстов [Ibid. Р. 53]. Иначе говоря, рассыпать моральные суждения по тексту сомнительно или спорно как минимум в двух отношениях. Во-первых, если моральные оценки носят конвенциональный характер, то вряд ли они нужны, а если специфичны – то сомнительны в своей обоснованности [Ibid. Р. 50]. Во-вторых, они стирают грань между историей как исследованием и историей как инструментом пропаганды. Соответственно, тезис об этичности, которую следует искать в создании текста, тогда может быть понят как требование стремления к истине как принципа его производства и организации.

Если вернуться к метафоре голоса, то в свете тезиса Мегилла он может быть проинтерпретирован следующим образом. Эту же интерпретацию можно рассматривать как конкретизацию этического требования стремиться к истине. Суть в том, что историк должен быть чувствителен к источникам. Он должен быть максимально открыт к их разнообразию и многообразию. Можно назвать такую чувствительность воплощением справедливости, которая заключалась бы в воздании должного всему тому, что обеспечивает взвешенность и аргументированность высказываний историка, хотя на первый взгляд может показаться несущественным или противоречащим сложившимся представлениям о тех или иных исторических явлениях.

Если подойти к рассуждениям Мегилла с позиций профессиональной этики, то нельзя не признать их убедительности. Видимо, так и должна прочитываться фраза о том, что надлежит делать историкам как историкам. Однако очевидно и другое. Те, кто настаивает на необходимости моральной вовлеченности историка, вряд ли будут дискутировать по поводу необходимости профессиональной честности. Поэтому резонно полагать, что выдвигаемый ими тезис о правомерности моральных оценок в истории подразумевает ее возможность быть чем-то более этически ценным, чем только соответствие профессиональным стандартам.

На этом этапе рискнем повторить и дополнить тезис, что ряд дискуссий по поводу такой моральной вовлеченности вызван не столько спорностью самой идеи, сколько сохраняющимися представлениями как о природе и статусе моральных требований, так и о характере исследовательской деятельности и социально-культурной ценности истории в целом.

В свое время Джон Ролз справедливо отметил, что «справедливость – это первая добродетель общественных институтов» [13. С. 19]. Поэтому как бы ни были эффективно и успешно устроены законы и институты, они «должны быть реформированы или ликвидированы, если они несправедливы» [Ibid.]. Этот тезис американского мыслителя можно было бы развивать в следующих направлениях. Прежде всего очевидно, что теория Ролза и ей подобные обогащают и конкретизируют наш моральный словарь не только тем, что переводят наши интуиции в артикулированную форму, но и тем, что структурируют и детализируют его. Тогда

мысль британского исследователя Беверли Саутгейта (Beverley Southgate), что суть вопроса о моральной вовлеченности не в том, должны ли историки принять «неизбежность своей этической вовлеченности, а в том, в чем такая вовлеченность должна состоять» [2. Р. 56], можно понять следующим образом. Возможно, что одна из причин неудовлетворенности моральными суждениями историков состоит в бедности их этического словаря. Отчасти, конечно, это связано с общим характером рассуждений о моральной вовлеченности, присущим общетеоретическим рассуждениям по этому поводу и потому не позволяющим вдаваться в детали. Но возможно, что причина глубже.

Изошренность рассуждений Ролза подталкивает к еще одному возможному выводу, отчасти вытекающему из предшествующего рассуждения. Резонно предположить, что моральные теории, как и проблемы, которые в них обсуждаются, становятся все более сложными, а в необходимости специальной подготовки, что характерно для эпохи всеобщей специализации. Очевидно тогда, что одними моральными интуициями, сформированными общекультурным опытом, здесь уже не обойтись.

Однако рискуем утверждать, что решение вопроса не сводится к простому расширению профессиональной компетентности специалистов, в данном случае историков. Дело в том, что меняется сам способ обсуждения и решения моральных проблем. Речь идет о распределении ответственности за выносимые суждения. Очевидно, что обсуждаемые темы, как правило, носят публичный и потому болезненный характер, поэтому их обсуждение не может сводиться к вынесению персональных оценок. Оно предполагает коллективную дискуссию и выработку консенсуса, субъектом которых может и должно быть не только узкопрофессиональное сообщество.

Тезис о публичном характере тем и способов их обсуждения подталкивает к экспликации еще одного аспекта ролзовской теории. Дело в том, что теория справедливости позволяет расширить масштабы моральной оценки. Она предоставляет возможность давать моральную оценку не только людям, но и институтам и социально-экономическим процессам. Мораль очень часто сводят к оценке людей и их поступков, но не устройства институтов или принципов общественной жизни в целом. Это приводит к тому, что моральная критика затрагивает в основном приватную жизнь. Общественно значимые проблемы, как правило, сводятся к персональной ответственности тех или иных должностных лиц. Обыденные представления часто сводятся к убеждению, что плохи люди с их жадностью, корыстью, а не устройство институтов. Такое понимание, по сути, затемняет природу общественной жизни. Оно лишает индивида возможности установить каузальную связь тех или иных ситуаций с принципами сложившегося общественного устройства (и даже видеть проблематику в таком свете) и дать критическую оценку самим этим принципам. Так создается иллюзия, что достаточно сменить людей, и все будет хорошо. Поэтому теория справедливости заставляет

видеть социальную ситуацию если не глубже, то с иной позиции. Она требует обратиться к обсуждению моральной ценности институтов и принципов общественной жизни в целом. Дело, конечно, не в избавлении от персональной ответственности, но в изменении направленности этического дискурса.

Тезис Ролза о приоритете справедливости над эффективностью позволяет поставить вопрос об эпистемологическом статусе морали. Дело в том, что в рамках ролзовского рассуждения моральная составляющая становится не простым внешним добавлением к социальным институтам, а принципом их устройства. Тогда изучение институтов уже не может сводиться к их моральной оценке, осуществляющейся, как правило, задним числом, а предполагает такой их анализ, в котором моральный дискурс начинает играть определяющую методологическую роль. Он становится условием понимания их устройства.

Это, конечно, не означает, что историк должен задаваться такими вопросами в исследовании социальных институтов прошлого. В таком виде исследовательский подход грешил бы презентизмом. Скорее, ролзовский тезис обеспечивает более тонкое понимание столь распространенных представлений о влиянии моральных и политических ценностей на изучение прошлого, он ориентировал бы отвечать на вопрос, почему мы изучаем это, но не как мы это должны изучать.

Можно утверждать, что такое смещение в обсуждении этических проблем коррелирует со смещением в сфере собственно исторического дискурса. Прежде всего стоит предполагать, что образ историка, творящего в одиночестве, создающего большие (не обязательно философско-исторические) в своей сюжетной и моральной завершенности полотна и выносящего их затем на суд общественности, отходит в прошлое. Сегодня историческое исследование есть плод узкопрофессионального и потому коллективного творчества. Это означает, что какими бы ни были результаты исследовательской деятельности, они зачастую остаются там же, где и возникли, а именно в профессиональных журналах. Тогда встает резонный вопрос о значимости моральных оценок, в каком бы виде они ни делались. В этом аспекте вышеприведенный тезис Гормана «Должны ли историки как историки нести моральную ответственность и если да, то по отношению к кому» приобретает специфическое звучание.

Тезис о коллективном творчестве не означает, конечно, коллективной работы в том смысле, в каком она понимается в естественных науках. Речь о том, что сегодня отдельный текст вряд ли может быть трактован как искомая единица методологического и эпистемологического анализа. Читатель, пожелавший ознакомиться с плодами обсуждения какой-либо темы, вынужден включить творческое воображение, но не с целью интерпретации (как мечтали некоторые категорически настроенные постмодернистские авторы), а с целью связывания в целое всего комплекса тех аспектов и дискуссий, на которые распадается целое той или иной тематики. Тогда встает другой резонный вопрос, а именно вопрос о соотношении частей и целого. Применительно к моральной вовлеченности он подра-

зумеает наличие оправданного сомнения в том, не подменяет ли моральная оценка частей моральной оценки целого.

Стоит обратить внимание на один аспект, связанный с профессиональной этикой исследовательского сообщества. Вышеупомянутый Мертон отмечал, что «нравы науки имеют методологическое рациональное оправдание... Они в такой же степени моральные, в какой и технические предписания» [7. С. 770]. Этим он хотел подчеркнуть их функциональное значение, выходящее, в частности, за пределы субъективной честности исследователей. Ученый, согласно тезису Мертона, будет вынужден следовать требованиям профессиональной этики, поскольку они выступают гарантией возможности получения надежного знания.

Добавим к этому, что одним из способов обеспечения такой гарантии является соответствующая организация исследовательской деятельности. Резонно предположить, что исторической нарратив должен конструироваться не литературными жанрами в духе Хайдена Уайта, а логикой исследовательских процедур: постановкой проблемы, гипотезой и совокупностью доказательств и опровержений. Как отметил нидерландский историк Antoon de Baets, «я твердо верю, что историческую правду ищут, а не навязывают, и что мы должны использовать силу аргументов, а не принуждения, для реализации наших целей. Я вижу три существенных основания для такого подхода: во-первых, он усиливает автономию и саморегулируемую функцию нашей профессии; во-вторых, он создает ясность в отношении его оснований для членов сообщества, а также для студентов-историков, судей, потенциальных заявителей, владельцев исторических данных или источников и общества в целом; в-третьих, это повышает уверенность окружающих в нашей работе. Это наша профессиональная экспертиза – наш доступ к экспертным знаниям о прошлом и обладание ими, что отличает нас от остальных, интересующихся прошлым» [15. С. 155].

Очевидно, конечно, что никакая процедура сама по себе не может дать окончательной гарантии обеспечения исследовательской честности. Но стоит предположить, что она создает благоприятные условия для ее реализации, в частности способствует повышению чувствительности историка к многообразию источников. Полагаем, что реализация данного формата обладает еще одним свойством. Она способствует нейтрализации традиционных форм моральной вовлеченности историка. В свое время Габриэль де Мабли подчеркивал, что история украшается моралью в искусных руках [Там же. С. 164]. Искусность заключалась в том, что «историк должен дать мне возможность заранее почувствовать в этом благоденствии причины упадка. Тогда все разворачивается само собой, факты естественно проистекают одни из других, и именно в этом и состоит все искусство изложения всеобщей истории» [Там же. С. 167]. Можно назвать такой подход умением подвести читателя к пониманию, которое достигается не назойливым навязыванием своих оценок, а мастерской организацией текста в желаемом направлении. Поэтому тот же Мабли утверждал, что «мораль тем естественнее соединяется с историей, что благодаря

вечным законам Провидения добродетель несет мир в сердца людей, а порок вселяет в них смущение и страх» [Там же. С. 164]. Подобные мысли о роли историка как морального наставника воспроизводятся и по сей день. Так, Адриан Олдфилд (Adrian Oldfield) полагает, что историк «мог бы это сделать, не нарушая течения своего повествования, рассказывая нам о моральных дилеммах, с которыми сталкивались люди прошлого, и о путях решения этих дилемм и позволяя современникам говорить самим за себя» [16. Р. 275].

Позволим утверждать, что вышеописанный формат организации исторического повествования беззащитен перед вторжением в него самых разнообразных идеологических установок. Путь их преодоления заключается, конечно, не в поиске новой возможности обеспечить способы выражения правильных ценностей. Этот путь дискредитирует как ценности, так и историческое знание. Поэтому вышеупомянутый Мегилл правомерно полагает, что историк должен занять двойную дистанцию: как по отношению к прошлому, так и по отношению к настоящему [10. Р. 61]. Суть этой мысли не в определении возможности занять отстраненную позицию, ограждающую как от влияния прошлого, так и от стереотипов современности в надежде на обретение вневременной объективности. Резонно предположить, что двойная дистанция подразумевает концентрацию внимания на поиске доказательств и опровержений и организации исторического текста как доказательства или опровержения той или иной гипотезы, затрудняет возможность воспроизведения традиционных форм связи истории и морали.

Вопрос о смене исследовательского интереса от истории людей и событий к истории структур и процессов позволяет двинуться еще в одном направлении. Это означает, что меняются не только сюжеты, но и представление о целостности и завершенности исторических нарративов. Тогда видение прошлого должно стать иным. Не действия людей становятся форматом создания и критерием определения целостности исторических повествований, а завершенность процессов. Резонно, что соответствующим образом должна измениться расстановка моральных акцентов. Дело здесь не в снятии моральной ответственности с индивидов, а в исчезновении смысла моральных оценок исторических персонажей. Суть даже не в том, что моральные мерки современности становятся иными, а в том, что к получению знания они ничего не прибавляют, а определение моральной ценности исторического знания только запутывают.

В той мере, в какой история приобретает облик исследования, а не повествования, снова встает вопрос о культурной ценности исторического мероприятия или, так сказать, о пользе истории. Представляется, что роль истории в вопросе формирования идентичности, в обосновании тех или иных притязаний, в ее способности быть иллюстрацией пороков и добродетелей должна быть пересмотрена. Конечно, историческое знание все это делает и продолжает делать. Все это продолжают делать историки. Но должны ли они это делать? Рискнем утверждать, что в той мере, в какой история продолжает претендовать на решение таких задач, она

изменяет себе как виду знания. Если это так, то стоит снова предположить, что пересмотр вопроса о пользе истории влечет и пересмотр традиционных форм моральной вовлеченности историка и исторического знания.

Вышеописанное не означает, что тот облик, который приобретает современное историческое знание, обеспечивает его моральную нейтральность. Приведенный в начале статьи тезис Эванса о том, почему историки не делают моральных суждений, можно было бы тогда истолковать следующим образом. Проблема не в том, что у них нет навыка в таких вещах, а в том, что сложившиеся формы моральной ценности исторического знания потеряли кредит доверия, а существующие формы исследовательской деятельности мало способствуют актуализации интереса к общественной ценности исторического знания.

Здесь стоит утверждать, что историческое знание может носить только публичный характер в том смысле, что оно имеет значение только для жизни сообществ (речь, конечно, не о травматическом значении исторических событий). Для приватной жизни историческое знание вряд имеет значение. Но тогда резонно полагать, что моральные суждения по поводу тех или иных исторических явлений не могут быть плодом индивидуальных предпочтений. Наличие морального консенсуса следует считать необходимым условием функционирования публичных ценностей.

Думается, что такой консенсус может быть достигнут только в публичной дискуссии. Причем одним из важных вопросов должен быть вопрос о том, в чем же должна заключаться моральная ценность исторического знания. В частности, если моральные оценки являются компонентом такой ценности, то по отношению к чему стоит их предпринимать? Должны ли такие оценки делаться по поводу исторических персонажей или такой род моральной вовлеченности следует считать некритически унаследованным стереотипом?

Очевидно и другое. Такая публичная дискуссия не может быть достоянием только профессионального сообщества историков, а требует привлечения более широкого круга специалистов. Как следствие, такое положение дел предполагает более отчетливое проведение границы между поиском знания и определением его моральной ценности. Понятно, что темы и проблемы социально-гуманитарных дисциплин в конечном счете задаются импульсами из окружающей социально-культурной среды. По этому поводу Франклин Анкерсмит резонно заметил, что историки, возможно, столь чувствительны к влиянию политических и моральных ценностей, поскольку чувствуют их опасность для получения исторической истины, но не потому что они сдвигают ее поиск в сторону, а потому что трудноотличимы от ее поиска [17. Р. 4]. Но, может быть, такая боязнь связана не столько со статусом исторического знания как такового, сколько с теми конкретными формами моральной вовлеченности историков, которые приобрели облик стереотипов и поистине превращают гуманитарное знание в вид моральной риторики.

Если процедура такой демаркации и выработка форм, в которых она будет воплощаться, возможна, то

подобное положение дел ставит вопрос о месте историка в этом процессе. Соблазнительно было бы утверждать, что дело профессионального сообщества – заботиться об истине, подразумевая, что вопрос о том, как ею распорядиться, остается вне компетенции данного сообщества. Поэтому правомерно полагать, что если историк выносит моральные суждения, то делает это не как исследователь, а скорее как заинтересованный или обеспокоенный гражданин. Но, с другой стороны, резонно предположить, что поскольку историк является не только заинтересованным, но и компетентным гражданином, то его участие в моральной дискуссии можно считать не следствием субъективного желания, а моральным долгом.

Вышеупомянутый Эванс в своей статье обсуждает вопрос о компетентности историков в экспертной деятельности, в частности в судебных процессах о военных преступлениях. Особое внимание он уделяет аргументам, связанным с проведением радикальных различий между работой историка и характером судебной процедуры [4. Р. 333–345]. Можно полностью согласиться с тем, что знание не должно быть инструментом манипуляций в любом направлении. Возможно, характер работы историка и природа судебной процедуры существенно различаются. Но, с другой стороны, в чем еще может проявляться общественная активность исследователя как не в экспертной работе? К тому же несомненно, что моральная дискуссия обладает некоторыми специфическими чертами, отличными от судебного процесса. Поэтому, если оставить в стороне социально-культурные обстоятельства, препятствующие или благоприятствующие общественной вовлеченности профессионального сообщества, то экспертную деятельность, связанную с определением морального статуса либо собственно исторических явлений, либо современных общественных институтов и форм жизни следует считать как общественной ценностью исторического знания, так и своеобразной формой общественного долга историка.

По сути, речь идет о формировании определенной исторической культуры. Резонно, что она не может сводиться только к совокупности символов, ритуалов, сложившихся форм увековечивания исторической памяти, а предполагает, помимо прочего, еще и выработку тех или иных форм нормативности. К их числу можно отнести требования, предъявляемые к профессиональному сообществу. Бесспорно, что требование стремиться к истине остается конституирующим такое сообщество. Но возможно, что иногда оно заслоняет социальную специфичность социально-гуманитарного знания. В отличие от естественнонаучного знания, как правило, востребованного узкими специалистами, социально-гуманитарное знание является необходимым условием и компонентом формирования современного гражданина. Представляется очевидным также, что именно этическая наполненность такого знания делает его понятным и приемлемым для широкой публики. Если это так, то современная историческая культура требует пересмотра унаследованных от XVIII–XIX вв. представлений о формах моральной ценности такого знания и моральной вовлеченности члена профессионального сообщества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wyschogrod E. Representation, Narrative, and the Historian's Promise // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn and R.A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 28–44.
2. Southgate B. «A pair of white gloves»: Historians and ethics // *Rethinking History: the Journal of Theory and Practice*. 2006. Vol. 10, № 1. P. 49–61.
3. Gay P. «Do Your Things» // *Historians and Social Values* / ed. by J. Leerssen and A. Regney. Amsterdam : Amsterdam Univ. Press, 2000. P. 33–45.
4. Evans R.J. History, Memory, and the Law: the Historian as Expert Witness // *History and Theory*. 2002. Vol. 41. P. 326–345.
5. Gorman J. Historians and Their Dutes // *History and Theory*. V. 43, 2004. P. 103–117.
6. Koehn D. *The Ground of Professional Ethics*. Routledge, 1994. 224 p.
7. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006.
8. Griffiths B. The business corporation as a moral community // Griffiths B., Sirico R.A., Barry N., Field F. *Capitalism, Morality and Markets*. The Institute of Economic Affairs, 2001. P. 17–40.
9. Ziman J. Why Must Scientists become More Ethically Sensitive Than They Used to be? // *Science. New Series*. 1998. Vol. 282, № 5395. P. 1813–1814.
10. Megill A. Some aspects of Ethics of History-Writing: reflections on Edith Wyschogrod's *An Ethics of Remembering* // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn and R.A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 45–75.
11. Evans F. Response: Essay Ethics and the voices of the Past // *Postmedieval: a Journal of medieval cultural Studies*. 2014. Vol. 5. P. 359–373.
12. Jenkins K. Ethical Responsibility and the Historian: On the Possible End of a History «Of a Certain Kind» // *History and Theory*. 2004. Vol. 43, № 4, P. 43–60.
13. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. 536 с.
14. Vaets A. de A Declaration of the Responsibility of Present Generations toward Past Generations // *History and Theory*. 2004. Vol. 43. P. 130–164.
15. Мабли Г.-Б. де. О том, как писать историю // Мабли Г.-Б. де. Об изучении истории. О том, как писать историю. М. : Наука, 1993. С. 150–234.
16. Oldfield A. Moral Judgments in History // *History and Theory*. 1981. Vol. 20. P. 260–277.
17. Ankersmit F.R. In Praise of Subjectivity // *The Ethics of History* / ed. by D. Carr, T.R. Flynn and R.A. Makkreel. Northwestern University Press, 2004. P. 3–26.

Syrov Vasily N. National Research Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: narrat59@gmail.com

ABOUT THE MORAL COMPONENT OF HISTORICAL CULTURE

Keywords: historical knowledge; historical narrative; moral judgment; moral values; moral involvement; moral evaluation.

The article discusses the potential of the philosophical approach, carried out by the English researcher Patrick J. Bracken, to the study of the trauma, namely the concept of posttraumatic stress disorder (PTSD). I believe that his work, namely “Trauma: Culture, Meaning and Philosophy”, can be considered as a good example of the using of a philosophical approach to a specific research problem. Bracken argues that the dominant research approaches to the study of trauma are unsatisfactory. It is about the boundaries and possibilities of cognitive psychology. As the author writes, its aim is to restore meanings by therapies that focus on the intrapsychic worlds of individual people. Cognitivists insist on its scientific character; independence from one or another philosophical reason. The author claims that this approach is based on certain philosophical assumptions. He connects these philosophical assumptions with the domination of the heritage of Cartesianism, Enlightenment and positivism. Bracken argues that there are two important consequences result from psychiatry's adoption of the positivist position in both its medical and non-medical forms are, first, the conclusion that psychological problems have the same basic form cross-culturally and, second, that the history of psychiatry can be seen as a progressive identification of the true nature of mental illness. Opponents criticized this position to identifying the symptoms of PTSD, and, second, the ways of working out the trauma.

But philosophy, as Bracken's book amply illustrates, also offers a positive agenda for change. The author connects such role of philosophy with the sort of hermeneutic phenomenology developed by Heidegger. Heidegger's phenomenology, as Bracken supposes, provides the theoretical framework for an alternative approach to trauma management, one which in being interpersonal rather than intrapsychic, and social rather than individual in orientation, is better suited to the needs of very many victims of trauma, particularly those in the non-Western world. Bracken argues that Heidegger's philosophy opens up opportunities for using a context-centered approach. If the trauma leads to a loss of meaning, then from context-centered approach loss of meaning occurs in a broken world, not a broken mind. Bracken also indicates that from a phenomenological point of view anxiety should be interpreted not only as a symptom of PTSD, but also as a consequence of the general state of modern society. As author says, in a society in which the background metaphysics does not function to create a strong sense of life's coherence and continuity, severe trauma or loss can more easily lead to the sort of post-traumatic anxiety.

In the final of his discussions, the author links productive methodological approaches with postpsychiatry. It incorporates evidence, individual therapy, and impersonal diagnostic categories, the tools of traditional medical psychiatry. But postpsychiatry, as Bracken argues, de-centres these tools and instead foregrounds questions of values, social contexts and, perhaps most important of all, personal meanings.

REFERENCES

1. Wyschogrod, E. (2004) Representation, Narrative, and the Historian's Promise. In: Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press. pp. 28–44.
2. Southgate, B. (2006) “A pair of white gloves”: Historians and ethics. *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*. 10(1). pp. 49–61. DOI: 10.1080/13642520500474816
3. Gay, P. (2000) Do Your Things. In: Leerssen, J. & Regney, A. (eds) *Historians and Social Values*. Amsterdam University Press. pp. 33–45.
4. Evans, R.J. (2002) History, Memory, and the Law: the Historian as Expert Witness. *History and Theory*. 41. pp. 326–345. DOI: 10.1111/1468-2303.00209
5. Gorman, J. (2004) Historians and Their Dutes. *History and Theory*. 43. pp. 103–117. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2004.00300.x
6. Koehn, D. (1994) *The Ground of Professional Ethics*. Routledge.
7. Merton, R. (2006) *Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya struktura* [Social theory and social structure]. Translated from English from E.N. Egorova, Z.V. Kaganova, V.T. Nikolaev, E.R. Cheremissinova. Moscow: AST.
8. Griffiths, B. (2001) The business corporation as a moral community. In: Griffiths, B., Sirico, R.A., Barry, N. & Field, F. (2001) *Capitalism, Morality and Markets*. The Institute of Economic Affairs. pp. 17–40.
9. Ziman, J. (1998) Why Must Scientists become More Ethically Sensitive Than They Used to be? *Science. New Series*. 282(5395). pp. 1813–1814.

10. Megill, A. (2004) Some aspects of Ethics of History-Writing: reflections on Edith Wyschogrod's An Ethics of Remembering. In: Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press. pp. 45–75.
11. Evans, F. (2014) Response: Essay Ethics and the voices of the Past. *Rostmedieval: A Journal of Medieval Cultural Studies*. 5. pp. 359–373.
12. Jenkins, K. (2004) Ethical Responsibility and the Historian: On the Possible End of a History “Of a Certain Kind”. *History and Theory*. 43(4). pp. 43–60.
13. Rolls, J. (1995) *Teoriya spravedlivosti* [A Theory of Justice]. Translated from English by V. Karpovich, A. Shevchenko. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
14. Baets, A. de (2004) A Declaration of the Responsibility of Present Generations toward Past Generations. *History and Theory*. 43. pp. 130–164.
15. Mabli, G.-B. de. (1993) *Ob izuchenii istorii. O tom, kak pisat' istoriyu* [On the study of history. How to write a story]. Moscow: Nauka. pp.150–234.
16. Oldfield, A. (1981) Moral Judgments in History. *History and Theory*. 20. pp. 260–277.
17. Ankersmit, F.R. (2004) In Praise of Subjectivity. In: Carr, D., Flynn, T.R. & Makkreel, R.A. (eds) *The Ethics of History*. Northwestern University Press. pp. 3–26.